



Вадим
Фадин

Девочка на шаре

Вадим Иванович Фадин

Девочка на шаре (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36081027

Девочка на шаре:

ISBN 978-5-907030-33-6

Аннотация

Поэт и романист Вадим Фадин и сам затрудняется определить жанр большинства вещей, собранных в настоящей книге: иные из них – одновременно и рассказы, и притчи, и эссе. Критик Александр Люсый однажды определил так: исходы. В самом деле, персонажи Фадина постоянно ищут места, где можно вообразить себя свободными. Такого места, однако, не найти и на шаре. С этими не совсем привычными произведениями органично соседствуют и вполне реалистический очерк о собаке, и эссе о литературе.

Содержание

«Как необычно зренье поутру...»	5
Автопортреты:	6
с музой	6
с понятыми	24
берлинские	33
Автопортрет в день рождения	34
Автопортрет на империале	37
Автопортрет в маске	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Вадим Иванович Фадин

Девочка на шаре

© В. И. Фадин, 2018

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

*** * ***

«Как необычно зрение поутру...»

Как необычно зрение поутру!
Мне детский мяч – планета небольшая;
там девочка затеяла игру,
пытаясь устоять на шаре.

Ей стоило качнуться лишь слегка —
и начал шар неверное движение.
Не задержу его – скользнёт рука,
не догоню (смешное положение),

в песке увязну: экая напасть!
А мяч – в пути, неровными кругами.
Она ж – довольна. Чтобы не упасть,
переступает цепкими ногами

по шару, глобусу, по маленькой Земле,
встаёт босой стопой, не разрушая,
на горы, крыши, куклу на столе,
на девочку, стоящую на шаре.

Автопортреты:

«Автопортрет редко бывает удачен, ибо в выражении глаз всегда остаётся напряжённость: гипноз зеркала, без которого не обойтись.»

В. Набоков

с музой

Больные своей работой писатели склонны при обострении недуга скрываться от семей. Ещё не так давно им охотно шли навстречу, и в особых домах, где они находили приют, всякому беглецу предоставлялась комната с двумя спальными местами – на случай, если того посетит муза; именно так, убого трепля её имя, пытались шутить многие из попавших в убежище впервые – вот и я оскоромился в своё время, да и позже повторялся не раз, не смущаясь банальностью мысли. В каждой шутке есть доля шутки, но каждая – должна восприниматься всерьёз.

Долгое уединение в ожидании упомянутой девы приводит к частому общению с зеркалами, и постояльцы в писательских приютах настолько не стеснялись своих отражений, что почти неизбежно приходили к мысли сохранить оные для потомков.

Пиша автопортрет, художник начинает с себя. Муза, даже сидящая на коленях, и, тем более, фон обречены дожидаться очереди, и всё же та и другой определяют позу самого автора; для писателя верная – за письменным столом. С этого предмета и начнём.

Удобнее прочих мне казались столы приюта в Дубулты – такие обширные, что редкий писатель успевал захламить их за отведённый ему месяц: для работы обычно хватало какой –нибудь шестой доли их суши, и была особенная прелесть в мечтаниях о путешествии в остающиеся неведомыми уголки; что же касается писательского портрета, то вряд ли кто –нибудь мог придумать для него лучший антураж: над внушительными плоскостями этих столов пристойно выглядели и самые заурядные лица.

Автопортрет – трудный жанр. С одной стороны, прообраз находится под рукой, и если память растеряла какие –то мелочи, то всегда можно обратиться к первоисточнику; в то же время здесь не обойтись без зеркала, а в нём, как известно, правая сторона видится левой – и наоборот; перепутав их, можно ненароком солгать. В дубултских комнатах трюмо стояли рядом со столами, и при взгляде чуть сбоку стекло, я помню, отражало мои раскрытые тетради, а дальше – окно и стены; лишь подоконник мешал включить сюда ещё и море. Выходило, что для меня портрет в интерьере являлся вдобавок и портретом в пейзаже, и это было справедливо, оттого что смолоду только в этих соснах, на этом берегу я мог

быть самим собою; красоты природы не сыграли тут решающей роли – скорее, дело было в атмосфере, мало осквернённой большевизмом, от которого в России давно не дышалось. Впервые попав под Ригу ещё мальчиком, я разглядел, конечно, всего лишь новую страну со скромной долей экзотики, но позже, взрослея, мало – помалу стал слышать здесь несравненный запах свободы; чем больше я в ней нуждался, тем лучше и слышал, тем сильнее рвался в эти края – вдохнуть. Только постепенно, вследствие частых моих маленьких эмиграций сюда, мне стала близка и здешняя природа, и я так сросся с её родным обрамлением, что и местные жители нередко обманывались, принимая меня за своего: возможно, за много лет черты лица изменились сообразно картинам местности. Между тем, моих друзей это влияние не коснулось, вот и муза оказалась девушкой русской, без поправок, и я опасался, что попади она в эти места одна, над нею непременно учинилось бы какое – нибудь хулиганство.

Впрочем, будем соблюдать порядок: мы договаривались прежде фона прописать лицо автора (я выбрал внешность, присущую тому в начале восьмидесятых). Рассматривая его, как решено, над столом, полезно попробовать поменять так и этак освещение: может статься, следы улыбок и огорчений лучше проявятся при свете не рабочей лампы, а скупого светильника в пивной: дело в заведённом обыкновении в первый же по приезде на новое место день, пока ещё не начата работа, навещаться в ближайшее питейное заведение, где

за долгой кружкой легко разговориться с кем угодно и так узнать, чем нынче жив местный народ. В Дубулты, правда, этот опыт мог бы сорваться, оттого что в собеседники вполне могли попасть отдыхающие из санатория, настроенные, как правило, против здешних жителей, языка и климата; но в этот раз за моим столом сидели пусть и русские, но уроженцы этих мест – строительный рабочий и врач. С доктором мне не понадобилось даже начальной пристрелки: мы ненароком взяли одну и ту же ноту обиды за свою принадлежность к оккупантам – став соучастниками в грязном деле, мы не знали, как выйти из шайки.

Разговаривая негромко, мы всё же привлекли внимание проходившего мимо парня. Молча прослушав изрядную часть нашего диалога, он наконец попросил спички – по – латышски. Врач протянул ему коробок – с латышским же «пожалуйста». Парень ушёл – мы и не посмотрели, куда, – а через несколько минут официант поставил на наш стол неожиданный (мы ещё не осушили свои) кувшин пива.

– Это вам от латышей, – сказал он.

Опыты со светом оказались успешными: в полумраке зала, усугублённом чернотой дубовой мебели, лицо, по контрасту, обозначилось отчётливо, неосвещённый же фон содержал, видимо, подробности, каких до сих пор не удавалось найти в безысходной столичной жизни. Теперь я был готов к неожиданностям, в том числе и ко встрече с музой. Она не заставила себя ждать.

Как известно, чтобы встретиться с соседом, лучше всего отъехать от дома подальше. Так теперь вышло и у нас с Музой. В Москве я соскучился по ней, москвичке, впадал в панику, воображая, что забываю её, и даже не раз ловил себя на неспособности вспомнить какие – то её черты (тем более, что автопортрет с нею ещё не был написан), а тут от прибытия поезда до нашей встречи прошло всего несколько часов, словно мы сговорились загодя. Муза буквально столкнулась со мной на тротуаре, едва я распрощался с врачом; разговор с ним был настолько свеж, что невольно мелькнула мысль об ещё одной соучастнице.

– Ты нисколько не изменилась, – неловко начал я.

Она и в самом деле выглядела юной, как и несколько лет назад.

Я не стал выяснять, ради кого она приехала на взморье: не хотелось знать о своих соперниках и не хотелось ничего более – да иного и не оставалось, – кроме как пригласить Музу к себе; при этом я предвидел трудности, каких не умел обходить.

В дубултском доме я ожидал соседства с давно знакомыми людьми, в том числе и с такими, с кем знался домами; трудно было решить, как лучше представить им Музу – кузину, секретарём, но только не женою, оттого что их не могло быть две, и не музою, оттого что это состояние тут обыкновенно не называли вслух – кто из застенчивости, а кто и из суеверия. Она, умница, всё поняла раньше меня и, упреждая, за-

явила, что станет приходить по ночам, когда я работаю.

— Но сейчас ты не откажешься от прогулки? — с надеждой спросил я. — Вдоль моря?

Никто из знакомых не встретился на берегу. Линия прибрежья казалась бесконечной, неожиданные препятствия вроде моста, поворота дороги или винного магазина не могли бы тут сбить с мысли или заставить оборвать на полуслове тираду, и меня поэтому не только не тянуло отрываться в разговоре междометиями, но приятно было следить, как слова во множестве сцепляются между собою, складываясь в протяжные, как кромка моря, цепочки, достойные даже и высокого содержания и рассмотрения их отвне души, что — то вроде: «Чудак, занимающийся не своею душой, а моею, увы, никогда, никогда уподоблен не будет Матфею, хотя может быть и печальней того, и, что важно, правее...»

Продрогнув на ноябрьском ветру, Муза не стала дожидаться ночи, а так и осталась со мной, войдя в дом налегке, как минутная гостья, и не вызвав подозрений.

Мы сразу же спустились в бар пить кофе. Точнее, я пошёл первым, чтобы по пути позвонить домой, а она задержалась у зеркала — работать над образом.

Жена не замедлила выговорить за поздний звонок, хотя и сама понимала, что мне прежде следовало осмотреться, чтобы нашлось, о чём рассказывать на второй после прощания день. Я начал с восторженных похвал рабочему месту; впечатление от пивной осталось при мне. Жену более заинтересо-

вали размеры не стола, а комнаты; я ответил уклончиво, но это не помогло.

– Что, если я приеду на праздники? – предложила она.

До красной даты оставалось меньше недели.

– Это же обычный двухдневный уик – энд, – осторожно возразил я, думая, как это непорядочно: даже не дав мне прийти в себя, снова сбивать с темпа.

– Тебе, по крайней мере, будет с кем выпить.

– Вот уж с чем не бывает проблем, – засмеялся я, оставив за скобками своё отношение к этим так называемым праздникам. – В крайнем случае всегда можно выпить с Музой.

– Жди, когда она тебя посетит.

– Ты не поверишь, но она тут как тут. Неспроста же я так рвался сюда. Вообще, мне всё здесь по душе, и тянет написать и то, и другое, и я уже видеть не могу чистой бумаги: так и хочется марать её, не разгибаясь.

На время визита жены мне пришлось бы разогнуться, но она сделала вид, что не поняла намёка:

– Не ревную я к твоей музе, не бойся.

– Две женщины не уживаются в одном доме.

Разговор закончился на неопределённой ноте.

В баре я оказался единственным посетителем и, оглядевшись, выбрал столик под барельефом Моисея (не под Авиценной же было садиться), откуда через стеклянную стену можно было видеть свою лоджию на втором этаже: мне хотелось, чтобы туда вышла Муза – я сделал бы ей знак, ненуж-

ный, конечно, но вместо этого мне пришлось обернуться на стук её каблучков и просто встать навстречу.

Кофе нам сварила красивая молодая женщина, приятно полная. «Эх, не будь здесь Музы...», – начал я, но не стал додумывать до конца.

– Позвонил? – небрежно поинтересовалась подруга.

– И получил пренеприятное известие: она грозитя приехать.

– А как же я? – простодушно воскликнула Муза.

– Представь, я задал Розе этот же самый вопрос. Она пообещала не спугнуть тебя.

– Мило с её стороны.

«Увы, никогда, никогда уподоблен не будет Матфею», – с сожалением думал я, глядя, как за окном шевелится под ветром трава, и начиная сомневаться во времени года – ноябрь ли стоит на дворе. До снега, видимо, было далеко, и пейзаж радовал летними, хотя и приглушёнными красками – зелёной, голубой и жёлтой, – положенными, соответственно, на хвою, небо и стволы сосен. Этот вид был ещё не лучшим, мне больше нравился открывавшийся от двери моего номера: коридор сразу за нею заканчивался стеклянным торцом и казалось, что, сделав лишний шаг, можно ступить на берег – на верхушку невысокой дюны; в пределах зрения была композиция из песка, нагого дерева и прибоя. Безлюдный берег я, наверно, мог бы наблюдать вечно, равно как и то, что видел сейчас из бара – поросший блёклой травой бугор. Мой

стол был пока недосыгаем, только я не бездействовал и здесь, за кофе, пусть приземлившись и пустив корни, но мыслью оставаясь в вольном просторе, не знаящем смены сезонов, а то и столетий – вопреки мнению о пресловутом спиральном движении человечества с узнаванием повторяющихся вертикалей. «С земли хорошо различимы витки бесподобной спирали, – проговорил я в том же ритме, что и у моря, – какой – то пружины, чьи кольца пространство души распирали...»

– Кого я вижу!

Как я и предполагал, в доме писателей неизбежны были встречи. Первый же из его обитателей оказался моим знакомым – детективщиком Матвеем («Уподоблен не будет Матфею», – решил я).

– Моя помощница, – представил я Музу, не солгав.

Присутствие девушки Матвей воспринял как должное.

– Когда – то писатели ходили в этот бар пить коньяк, – мрачно заметил он, втискивая за стол своё грузное тело.

– Странные времена, – согласился я и хотел было развить тему сухого закона, но спохватился: – Пойдём ко мне, выпьем за встречу. Как можно догадаться, я привёз кое – что.

Но он не пил во время работы. Мне это было понятно, я и сам противно трезвел от первой же рюмки, по меньшей мере до утра выпадая из того неверного состояния, какое способствует нашему труду. Меняя разговор, он задал вопрос не попад – о семье. Секретов от музыки у меня не водилось, но мой пространный ответ причинил бы ей неудобство. Матвей

и сам понял это, быстро перебив себя комплиментом Анечке – мастерице варить кофе.

– А ведь, сдаётся, не женское это дело, – продолжил он о кофе-варстве. – Есть что – то незавершённое в этой мизансцене – женщина перед огнём... А хочешь, я подарю тебе, по случаю приезда, тему? Женщина под дождём! Сам бы написал, да не мой жанр.

– Кошка под дождём уже была, – напомнил я.

– Так то – кошка.

– Под дождём – подождём, – найдя плохо спрятанную рифму, я вспомнил давно сочинённое: – Оставьте книгу мокнуть под дождём!

– Экий ты, право, варвар.

– Каюсь...

– И он туда же! Что за мода пошла болтать о покаянии, тогда как всякая мода – это словесность и ложь? Достаточно было выйти фильму, который никто так и не увидел, как его уже цитируют! Да ведь и сама мода – не на покаяние как таковое, а всего лишь на название картины.

– А не могло быть, – остановил его я, ощутив острое желание защитить сразу всех, – не могло ли так быть, что каждый созрел для осознания своей вины или доли в общей вине, и достаточно стало одной капли, намёка, чтобы начался обвал? Хотя, честно говоря, идея общей вины мне не по душе – оттого, что я имею наглость не считать себя частичкой общей массы.

– Это довод только для бесед с самим собой, – махнул рукой Матвей. – Вот, кстати – Бог с нею, с женщиной под дождём, – дарю ещё одну тему: составь книгу из писем самому себе. И ответов на них. В такую вещь вместишь даже больше, чем в дневник.

Мой автопортрет – не сродни ли он такой книге? Я глянул на музу, и она кивнула.

Первое письмо себе я решил написать в тот же вечер, хотя и понимал, что лучше всё же было бы позвонить.

В комнате я начал с того, что подошёл к зеркалу. С лицом, увиденным там, не стоило и пытаться изображать кающегося грешника; любой посторонний скорее нашёл бы, что я тоскую по прежним грехам. К тому же и с композицией тут обстояло непросто: центральной фигуре пристало либо пасть ниц, либо прятать, в пароксизме раскаяния, лицо в ладонях – но как, скрыв таким образом черты, передать сходство? Для этого надо быть мастером. Мне же больше нравился первоначальный замысел – человек за огромным столом. В обоих случаях, правда, не находилось места для музы (позу Саскии я отверг как избитую), – мне словно намекали на необязательность видимого её присутствия; невидимого же я ожидал вдоволь, во всяком слове или мазке.

В другой обстановке я бы долго мучился, выбирая, теперь же особенно не раздумывал, да и Муза помогла подсказкою, и принялся за дело, не представив толком, как будет выглядеть готовое изделие, а записывая подряд всё приходящее в

голову – в надежде разобраться после. Наверно, никто другой не сумел бы лучше использовать отведённое время: до приезда жены мне удалось сделать то, на что в другой раз ушёл бы месяц, и всё ж она приехала некстати: мой запал ещё не иссяк, и до естественного перерыва в работе было далеко.

День приезда Розы пропал для письма целиком. Встав ни свет, ни заря, я собирался заняться делом до завтрака, но обеспокоился отсутствием музыки; я не нашёл её ни в доме, ни у моря. Берег был, как всегда, безлюден, только вдалеке, на пределе распознавания, угадывалась расхристанная фигура, вполне способная оказаться Матвеем; тотчас выяснилось, что фигура не одинока, из – за неё выдвинулся кто – то поменьше, и я возомнил, что узнал Музу. Сам виновный во всём, ибо кому, как не мужу, пристало справляться с женою, я почувствовал себя неважно. Отвернувшись, я увидел в противоположной стороне ещё одну пару, снова опознав Музу, и понял, что отсюда надо уходить.

Добираясь потом до вокзала, я всё придумывал оправдания, утешения и способы извлечь пользу из нового положения; единственным, что нашлось светлого, была возможность без лишних потерь посвятить воскресный вечер органному концерту. Радость от этого вышла, однако, слабая.

В первую ночь, едва Роза уснула, я тихонько выбрался из постели и сел за стол, хотя и знал, что так, с налёту, не напишется ни строчки: мне всегда требовалось, разогреваясь, подолгу просиживать над чистой страницей, прежде чем нахо-

дилось что писать; нынешнее же настроение и подавно никто не назвал бы рабочим. Внутренний голос советовал не тратить время попусту, но я упрямылся – и, не просидев и десяти минут, услышал, как кто – то поскрёбся в стекло. Первая отгадка – синичка! – была простой и неверной: птицы спали, ночных же будто бы не предполагалось в здешних краях. Пришлось встать и отворить балконную дверь. В комнату проскользнула Муза. Я нервно оглянулся на жену – она не шевельнулась; чтобы не разбудить её, пришлось надолго отложить выяснение того, как девушка очутилась в лоджии – не сидела же она там весь вечер, – а лишь пробормотать под нос что – то об опасности любительского скалолазания.

– Посижу у тебя, – шепнула девушка, устраиваясь в кресле.

Внезапно я успокоился. Убеждённость в том, что письмо при гостях – пустая затея, пропала вместе с опасением, что проснётся жена; устроившись на рабочем месте, мне ничего не оставалось как что – то написать, чтобы глаза не раздражала пустая бумага, и первые слова, сменяя на пробу друг друга, затолкались в голову. Радость по этому поводу оказалась преждевременной, потому что меня скоро сморил сон – так скоро, что не удалось дойти до постели, а просто – уронить голову на исписанный лист (что – то всё же сумело там написаться). Сон длился, наверно, всего несколько минут, но за это время Муза успела уйти. Прочтя написанное под её немую диктовку, я сказал себе, что теперь заслуживаю и сна

в постели.

Нужно было надеяться, что Муза сумеет прийти и следующей ночью; так и вышло, но она перестаралась.

Мы с женой лежали ещё обнявшись, ещё только возвращались, каждый – своим путём, в будничную обстановку комнаты, как я услышал, что к нам скребутся – на сей раз в дверь.

– Что это? – сонно пробормотала Роза.

– Кошка тут бродит. Под дождём.

Наверно, мы говорили достаточно громко, чтобы нас услышали в коридоре – во всяком случае, там перестали скрестись. Всё сошло бы гладко, как накануне, если б я не забыл запереться на ключ. Едва жена ушла в ванную, как входная дверь скрипнула, и в проёме показалась Муза – в шубке, в пуховом платке. Мне было от чего прийти в ужас, и я чуть не замахал на девушку руками, но, встретив её спокойный взгляд, только вздохнул. Сняв сапоги, она забралась с ногами в кресло; к тому времени я успел натянуть джинсы, но не был уверен, что Роза выйдет в халате.

– Полночи шлялась по пляжу: тянула время, – пожаловалась Муза. – Ноги заоченели – как ледышки. Зато принесла тебе в подарок свечу. Она горела в песке, у самой воды.

Я стал греть её ступни в своих руках; когда – то, в школьные годы, на катке часто приходилось таким манером согревать озябших подружек. За этим занятием и застала меня Роза.

– Оригинальный сюжет, – заметила она, остановившись на пороге; халат на ней был, но застёгивать его Роза сочла излишним.

– Вечный мой соавтор, – продекламировал я, представляя ей Музу если и не помощницей, то товарищем по несчастью – и нисколько не покривив душой.

– Надо думать, и главный твой герой? – ехидно продолжила цитату жена.

Девушка зябко поёжилась, и Роза заметила это.

– Не хотите ли чаю? – предложила она, ещё не понимая своеобразие своего туалета.

Муза покосилась на хорошо ей знакомую китайскую заварную кружку с крышечкой.

– Я вскипячу, – назвался я.

– Хотелось бы лечь, – протянула жена, обратив, наконец, внимание на своё дезабилье, но не принимая запоздалых мер.

– Такой ветер у моря, – пожаловалась Муза, деликатно отворачиваясь.

– Я читала что – нибудь ваше? – вежливо поинтересовалась жена, уже со своего законного места в постели.

– Если она – вечный мой соавтор... – постарался я свести всё будто бы к шутке.

– Но я впервые слышу, что ты...

– Возле «Перле» пьяные устроили танцы в воде, – продолжила Муза. – Языческое буйство, притягательное и страш-

ное.

– Без стриптиза, надеюсь?

– Что – то было похожее прежде, в течение веков, – пришла в голову строчка, и я взял карандаш. – Кажется, мне придётся поработать часок.

– С соавтором?

– Не помешаю, – произнесла Муза, не ставя ни чёткого знака вопроса, ни точки.

– Жаль, что я не догадалась тоже уйти к морю, – произнесла Роза с возросшей едкостью. – Одна! Ночью! Было бы что вспомнить.

– Не всё потеряно, – огрызнулся я, возясь с кипятильником.

– Какая наглость!

– Почему же? Если тебе хочется...

– Хочется? Танцевать голой в воде, чтобы ты потом растирал мне ноги? Теперь ясно, отчего ты с таким удовольствием едешь сюда в самое непотребное время, в слякоть...

Погода стояла сухая и ясная, а слякотью мучились как раз в Москве, но я не возразил: развивая тему, не избежать было упоминания о прежних свиданиях с музой.

Наверху, в комнате Матвея, слышались шаги. Он не признавал домашних тапочек и вечно стучал каблуками у меня над головой, безумно раздражая не самим звуком, вполне безобидным, а именно непривычкою менять обувь.

– Выхаживает интригу, – неприязненно заметил я, утвер-

ждаясь в мысли, что нет, не будет уподоблен. – Лучше бы обдумывал свои преступления, лёжа в ванне – есть же классический пример.

– Можно сказать ему, – отозвалась Муза. – Если нужно, я схожу.

– Нет, нет! – перепугался я. – Ни за что. В крайнем случае – вот же телефон.

Недоставало ещё, чтобы она ушла к другому; случись так, мне стало бы не до изящной словесности.

– Вы, собственно, где живёте? – вдруг спросила жена.

– Это зависит... – замялась девушка. – Впрочем – в Черёмушках.

– Милое название. Но я спрашиваю не о Москве.

– Уже поздно, – прервал я затянувшийся дамский разговор. – Попробуй заснуть. А мне и в самом деле надобно немного посидеть.

Бросив на прощание яростный взгляд на Музу, жена отвернулась к стене. Честно говоря, я не ожидал от неё такой терпимости. Разумеется, Роза не собиралась засыпать, а думала подслушивать и подсматривать, но это было её право, и это не могло помешать нам. Она только попросила уменьшить свет – ненужно, оттого что и так единственным освещённым предметом в комнате был мой блокнот с набросками автопортрета; трудно было представить, как это великие писали при одной свече.

Сейчас свеча, отражаясь в зеркале, мешала различить

другое отражение; моё лицо ещё кое – как угадывалось (особенно – очки), очертания музыки приходилось уже воображать, зато жены как бы и не существовало вовсе – настолько она по – рембрандтовски растворялась в тёмном фоне.

С ПОНЯТЫМИ

Работа сочинителя перед зеркалом трудна тем, что, описывая себя, неловко бывает давать волю воображению; то, что в других случаях называлось бы художественным вымыслом, здесь считается ложью, и если в вольных сочинениях третьи лица дозволяется наделять попутчиками, преследователями, супругами либо конвоирами или же, напротив, щедро одаривать уединением, то при честном письме от первого лица не удаётся ни приблизить к себе кого – нибудь лишнего, ни прогнать навязавшихся чужаков. Последние бывают столь настырны, что, пища себя, устаёшь замалёвывать то и дело простиупающие на фоне многие лица соглядатаев, и стоит ненадолго отвлечься, как мирный автопортрет начинает походить на картину Босха; диву даёшься, каких уродцев посылают доглядывать за мною. Если же отступить от такого полотна подальше, чтобы их подлые черты стали неразличимы, получается, пожалуй, только хуже: рассыпанные по холсту их физиономии видятся тогда нездоровой розовой сыпью, как при краснухе или кори. Мне и в самом деле уже в довольно зрелом возрасте (далёкое это было время) пришлось переболеть краснухой; раньше она считалась детской болезнью, но на моих глазах поражала и взрослых, почему – то оказываясь наиболее опасной для художников – неважно, поэтов или живописцев. Вызывающий её микроб с го-

дами совершенствовался, народные средства вроде суровых или красных ниточек скоро устарели (кроме водки, конечно, – не исцелявшей, но приносившей верное облегчение), и приходилось выдумывать всё новые лекарства; говорят, будто наконец нашли даже и подходящее, да наш терпеливый и не падкий на новинки народ так долго собирался его испробовать, что одна болезнь перешла в другую. Лечась у себя дома и по – своему, то есть соскабливая старые мазки жёсткой щёткой, я однажды переусердствовал и счистил с холста вместе с сыпью и собственное, выписанное с огромным трудом лицо – очень кстати, потому что когда меня вскоре призвали к ответу неизвестно за что, я сумел привести замечательный довод: вот оно, дело жизни, моё полотно, на котором соглядатаи есть, а меня – нету. Врачи, впервые наблюдавшие сыпь в отсутствие пациента, только переглянулись; он же, мнимый больной, возгордился изобретением нового жанра – автопортрета в состоянии алиби.

Итак, поинтересоваться моим бытием пришли – без меня. Помимо непереносимых уродов в компанию затесались и двое понятых: немолодая лифтёрша Лида и сапожник дядя Паша, живший на первом этаже, возле лифта, в каморке без кухни и уборной: как раз напротив его двери и сидела на своём жёстком стульчике востроносая Лида. О них известно было то лишь, что одна «стучит», а второй – пьёт, как сапожник; думаю, что Лида о нас знала куда больше.

Этой паре, видимо, следовало бы поразиться убранством

жилища, по нашим представлениям – скромного (о том, как жили они, я мог судить лишь по виду дяди – пашиной каморки, дверь в которую вечно стояла настежь, так что всякий входящий в лифт видел, что вся её обстановка состоит из лежанки, стула да сапожной оснастки; где и как жила Лида, можно было – и не хотелось – только догадываться). Они и впрямь были поражены – я бы никогда не догадался, чем: отсутствием кабинета; Лида так и спросила: «Где же они работают?» Мой ответ был бы непрост: я и сам не понимал, как во всей просторной квартире не нашлось места не то что для рабочей комнаты – дерзкая мысль о ней даже не приходила мне в голову, – но и для письменного стола: для письма я использовал чертёжную доску, кладя её одной стороной на деревянный подлокотник дивана, другой – на рояльный винтовой табурет, наращённый стопкою книг. В этом доме не верили в необходимость моих умственных занятий, отчего, наверно, о них и узнали чужие. Лида, едва ступив в прихожую, сразу завертела головой, ища место преступления; но моя доска в отсутствие хозяина всегда стояла за шкапом.

Всё же вопрос о кабинете, едва заданный, повис в воздухе: уже стало ясно, что тут не хватает большего. Понятым было невдомёк – я и спустя долгое время не хотел объяснять им, – что на сложившейся картине осталось белое пятно, что там присутствовали и случайные прохожие, и они сами, понятые, и мелочи антуража, я же был тоже, но – не там.

Родители на эти дни куда – то уехали, и моим сестре и по-

друге, ещё не ставшей женою, а в сей неподходящий момент забежавшей отдать какую – то книгу, пришлось играть роль хозяйек. Неуверенность незваных гостей они почуяли сразу, и если сестра потерялась и сама, то подруга, смекнув, улучила момент и на всякий случай осторожно проводила дядю Пашу на кухню. Делом минуты было налить ему чайный стакан водки.

– Надо соблюсти, – к её великому удивлению, возразил он и аккуратно слил половину обратно в бутылку, а выпив залпом остальное, проговорил, наверно, обо мне: – Порядочный был мужик.

– Что это вы – словно о покойнике? – возмутилась моя девушка.

– Так ведь другая слава пойдёт.

Слава и впрямь в любом случае теперь ожидалась иная; задумавшись об этом, подруга не слышала, что понятого уже звали, хватившись. Тот, доедая на ходу огурец, ушёл незаметно для неё, хотя с первого раза и не вписался в дверной проём: половина стакана была, видимо, не первою. За его дальнейшими приключениями в дороге не наблюдал никто, и никто не помог ему выбраться из стенного шкапа, куда он забрёл вместо комнаты. Меня, впрочем, не было и там.

Искали, однако, не меня, а какую – то мелочь – бумажную, разумеется. Сестра, выдерживая расспросы, разводила руками: с каких это пор я позволял ей знакомиться с глупинами портфеля, в котором, за неимением стола, хранился

весь мой жалкий архив? Настойчивые требования пришельцев скоро действовали, и она раскаялась, но помочь им всё равно не могла. Чертыхаясь, те продолжали действовать самостоятельно, но без толку, и даже ставшая венцом всего разделка свежего судака (мы жили над рыбным магазином) не принесла им успеха.

– К допросу, к допросу надо переходить, – вдруг занервничал младший из сыщиков, не совсем ещё урод, а всё – таки карлик.

– Без субъекта?

– Сами справимся. А понятые подтвердят.

Усевшись друг напротив друга, они принялись допрашивать с пристрастием. Поначалу дело шло споро: имя, отчество, год рождения были известны заранее, год смерти они, к счастью, прочеркнули, и лишь с особыми приметами вышла заминка; пришлось призвать на помощь женщин, но и это не помогло, оттого что те разошлись в оценках – заспорили, например, о цвете моих глаз: сестра настаивала на сером, подруга – на голубом, а лифтёрша твердила об очках. Истина в споре не родилась (участники не были единомышленниками), и главный из тех двух писарь решительно проставил в нужном месте «б/ц», что означало: без цвета. Находясь я рядом, запись рассмешила бы меня, но я узнал о ней позже, слишком поздно, и тогда испугался за автопортрет, отчаянно не желая малевать себя белоглазым, но вскоре, впрочем, вспомнив о своём праве на художественный вымысел и тем

успокоившись.

Разделавшись с формальной частью, гости принялись сочинять скучный боевик, отчего понятые окончательно перестали понимать, что к чему. Лида то и дело вздымала взгляд к стенным часам, словно ждала, не могла дожидаться моего возвращения, а дядя Паша на глазах терял всякое представление о действительности. Сдавая, он тщетно пытался что – то сказать лифтёрше, тоже изменившейся от волнений настолько, что первоначальное сходство её с доберман – пинчером, курящим папиросу, переменялось на сходство с чёрной крысой. Мычание сапожника мешало ей прислушиваться к говорившемуся в комнате не для неё, но едва она будто бы невзначай прикрыла рукою ухо с его стороны (а с другой, наоборот, приставила ладошку раковинкой), как дядю Пашу наконец прорвало:

– А сапоги у другого чинил, – торопливо, пока получалось, посетовал он.

Между тем уродец уже предъявлял какие – то бумаги – будто бы найденные, а в действительности минуту назад сочинённые им самим: строчил он усердно.

– Мы неграмотные, – трезво предупредил сапожник.

– Мне лучше знать, – охладил его уродец, от которого несло сырой рыбой.

– Наше дело извозчичье, – смиренно проговорила Лида, потупив острые чёрные глазки. – Куда велят, туда и едем.

Куда ехать, не знал сегодня никто; не обнаружив моих бу-

мажек, сыщики поскучнели и, наверно, давно бы уже исчезли, когда б их не удерживали запахи из кухни (рыба ещё не подрумянилась). И всё же им не повезло: на исходе жарки прозвенел телефон, большой уродец забубнил в трубку о своих достижениях, но на том конце провода слушали плохо или плохо слышали и, перебив, призывали агентов в контору. Заторопившись, те не сообразили, что должны увести с собою понятых.

Оставшаяся без командиров Лида притворно вздохнула:

– Жди теперь до ночи, пока о нас вспомнят.

– Теперь совершенно нечего ждать, – испуганно возразила подруга. – О вас не вспомнят никогда, и лучше, не теряя времени, распорядитесь собой сами. Можете хоть махнуть на какую –нибудь из великих строек коммунизма, хоть что.

– Нас тут как будто на пост поставили...

– Только будто. Вот, рыбки поешьте – и свободны, – нашла сестра.

Так им всем и запомнилась эта вечеря, в масштабе один к трём: четверо едоков рыбы. Не хватало, правда, летописца, чтобы увековечить действо: я появился через день. Ничего не подозревая, помахивая тем самым портфелем, я взбежал, пропуская ступени, к лифту – и остановился, удивлённый пространными словами Лиды, с которой мы обычно только раскланивались, не более:

– Тут позавчера искали...

– Что или кого?

– Сдаётся, вас. Хотя, раз не устроили засады, то, может, бумагу какую?

Неопытный, я всё – таки подумал, что она, видимо, таким манером предупреждает, и надо уносить ноги – и унёс бы, если б на голоса не выглянул дядя Паша.

– Что она болтает? – довольно связно выговорил он. – После нас там никого не осталось. Сам я, правда, не помню.

В квартире и в самом деле не было ни сестры, ни засады – я почуял это ещё с порога, как часто чуешь особенную пустоту помещения, из которого все ушли, но не поленился заглянуть за шторы и в шкафы (честно говоря, из последних меня интересовал только холодильник). Не найдя ничьих следов, я включил магнитофон – выбрав, по настроению, концерт Сары Воэн, – и, выпив отцовской водки, задумался над своим положением. Получалось, что спастись бегством можно было погодить: в хронике минувшей недели мои черты не запечатлелись. Ничего бы не изменилось и в том случае, если бы в эти дни я вообще не жил на свете: я не отбросил тени, зато приметы сапожника и лифтёрши, о роли которых пока приходилось гадать, явно были где – то отмечены – неважно, где. Самым скверным было то, что они все знали обо мне что – то, а я сам пребывал в неведении – относительно и этого «что – то», и тайных их намерений. Будучи единожды призваны, они могли счесть своим долгом продлить начатое и отныне присутствовать при каждом моём действии – всякий заметил бы, как отчаянно хотелось этого Лиде. Лишь бед-

ному сапожнику было не до того: он либо пил, либо зарабатывал на водку, приколачивая бесконечные набойки. Перед моими глазами так и стояла несуществующая картина Босха, в самом уголке которой (внизу слева) тщательно выписанные уродцы обжирались жирной рыбой, а рядом с ними, сгорбившись, тачал сапоги знакомый человек. С волнением я всмотрелся в остальную толпу – моего лица, слава Богу, не попало, как не попало и сирой безликой фигуры. «Что ж, пусть пишет», – позволил я незнакомому автору.

Вскоре приехали с каких – то берегов родители. Не знаю, что поведала им моя сестра, только они ничем не показали, что знают о происшедшем. И в те же дни умер дядя Паша. Проститься с ним пришлось на удивление много народу. Протиснувшись при выносе тела вперёд, я вдруг понял, что не смею заглянуть в открытый гроб: ещё неизвестно было, чьё лицо придётся там увидеть.

берлинские

«На фоне Пушкина, и птичка вылетает...» Отчего – то, снимаясь, надобно помещать себя непременно «на фоне», и ярмарочные фотографы малюют для этого изумительный антураж; их жертвам остаётся только просовывать голову в дырку, навстречу птичке. Художников, пишущих кистью, часто занимает нечто другое, и бывает, что, работая портреты, они пренебрегают подробностями обстановки: им попадаются настолько разные лица, что дай Бог хотя бы разгадать выражение каждого – тут уж не до плохо различимых околичностей. Иное дело автопортреты: сколько их не пиши, изображаемые черты остаются одними и теми же, разве что портятся от времени, и повторение их может надоест так, что коль скоро всякий раз не дозовёшься Саскии, то придётся выдумывать всё новые и новые костюмы и декорации – сдерживая себя, чтобы соблюсти меру и не вынести природные черты вообще за скобки. Тут хорошо бы иметь особые воображение и ловкость, потому что подходящего фона может не иметься вовсе и его поиски превратятся чуть ли не в цель жизни, когда во всём уже так и будет мерещиться один фон, фон, фон; вот и я в России существовал, литератор, вне издательств, а позже, когда вокруг начались перемены, то – вне собраний единомышленников, так что если и различался кем – то, то словно бы и не на сцене, а в пустоте; только

попав в новую страну, я в многочисленных отражениях увидел не себя, а, чего не ожидал, себя – в ней.

Автопортрет в день рождения

Автопортреты, понятно, пишутся не всякий день: и жизнь прекрасна, и мир нескучен, а своё лицо – что ж, оно всегда под рукой, и не расскажи о нём нынче, оно и завтра не убежит – разумеется, о случаях его потери я наслышан и, как водится, полагаю втайне, что дурное происходит лишь с другими, более того – с незнакомыми, и раз так, то избранное нами дело можно откладывать до бесконечности, то есть, видимо, именно до потери лица, воспрепятствовать чему могут лишь сила воли и твёрдо назначенные сроки. Для нашей своеобразной (буквально: свое – о'бразной) работы наверняка известна единственная благоприятная пора, вроде парада планет или дня ангела; но последний – день, всё – таки, не мой, но ангела, тёзки – великомученика, моим же, по праву, скорее окажется день рождения. Его и выберем.

То, что в этот день трудно, как и при сухом законе (привет Дос Пассосу), оставаться трезвым, значения не имеет, поскольку портрет призван отобразить лицо – цветущее ли, мёртвое, постное или оживлённое вином – любое, подобно тому, как всё это с оригинальным пристрастием отображают зеркала; не стоит мучиться, пытаясь решить, пить ли, не пить либо пить, но поняв систему, коих известно великое множе-

ство: сколько людей, столько и систем. Поскольку и я человек, то не премину внести свою лепту: пить можно сколько влезет, но только если не собираешься потом перейти от обеденного стола к письменному. От доброй чарки мой бедный ум надолго теряет способность витать в придуманном пространстве, вылавливая там метафоры; иное дело, если после нескольких дней непрерывной работы колёсики в голове раскручиваются так, что остановить их хотя бы на ночь возможно лишь силой – тогда и пригождается пресловутая чарка. Моё правило годится, однако, для любого в любом месяце числа, но не для дня рожденья, когда приглашённые в дом вправе обсуждать изменившиеся за год черты виновника торжества независимо от его состояния.

В этот раз не нашлось ни званных, ни избранных, а местом действия стала крохотная японская закусочная, куда я через весь город приехал отведать sake. Не перечесть напитков, перепробованных мною за десятилетия практики – от самогона и технического спирта до всяческих джинов, грапп, текил и ромов, – и только вкус тёплого sake оставался незнакомым. Вот я и решил сделать себе подарок, заполнив пробел.

Не различив вывески, я было прошёл мимо нужного заведения: заглянув на ходу в окно, я предположил внутри контору либо мастерскую – скромность обстановки отвечала моим представлениям скорее о недавней советской, нежели о японской культуре. Три полочки на стенах, составлявшие всю мебель по эту сторону прилавка, не располагали к дол-

гой трапезе и исключали всякие мысли о гейше на коленях.

Счастличик Джим из смешного романа Кингсли Эмиса умел состроить гримасу человека, съевшего лимон; отчего же не – выпившего sake? Возможно – благодаря знакомству автора с предметом: принявшие это причастие знают, что одна общая мина тут невозможна. На лице впервые выпившего, когда бы за ним наблюдали с улицы (увы, Паризер штрассе немногочудна), легко можно было бы увидеть изрядную гамму отражений: ожидание подвоха, решимость, озадаченность, разочарование и наконец – снисходительное одобрение. Закуска изменила бы названный ряд, но русскому человеку обойтись без неё проще, чем заказать – из – за неумения есть палочками и незнания того, полагается ли вообще закусывать sake. Впрочем, независимо от ответа художник из России, а тем более – автопортретист, не понимающий иноземной манеры пить, не заедая – не занюхивая, хотя бы, – непременно сунул бы в руку модели ржаную корочку.

В нашем списке упущено ещё одно выражение лица: восхищение тем, как был подан напиток: в горячем керамическом кувшинчике, изящно перевязанном, чтобы не обжечь пальцы, бумажной ленточкой.

Здесь уместно вспомнить одну нашу соотечественницу – туристку, искавшую в Японии семена икебаны.

Автопортрет на империале

Кстати, о птичках: впервые оглядывать новые места удобнее всего с высоты птичьего полёта. Такая точка зрения достижима не везде и не тотчас: рождённый не ползать, наш прямостоящий брат всё же вынужден тут прибегать к помощи кое – каких орудий – если не крыльев, то хотя бы лестниц; по одной из них можно взобраться на второй этаж автобуса сотого маршрута, известного торопливым приезжим, согласным за неполный час получить неполное представление о Берлине: он идёт из восточного сектора, через его безобразный центр, к центру – западному, каковым считается Цоо, район зоопарка; виды обоих несравнимы, равно как и прочие парные пейзажи обеих частей города, как и черты недавних разных Германий, которые всё ещё, вопреки Киплингу, пытаются сойтись вместе.

Проезжая через город, турист видит различия лишь в архитектуре, прочие же если и заметит, то не осознает; но и застройка может сказать о многом – о том, например, что после войны на Востоке, не помня родства, сносили развалины, чтобы на их месте построить уродливые, по советской моде, коробки, а на Западе немцы свою половину восстанавливали такою, какой была. Вот и нужную нам сегодня автобусную остановку окружили панельные дома – более, конечно, аккуратные, чем в каком – нибудь Свиблове, но и менее,

чем там, уместные.

Город, между тем, состоит не из одних фасадов; почти не зная восточной зоны и вздумав прогуляться почти от дома до остановки пешком, я поневоле вспомнил петербургские тротуары, которым, жалея обувь, предпочитал, в нарушение правил, проезжую часть (не на Невском, конечно, а там, куда не водят экскурсантов); пробыв в северной российской столице неделю перед самым отъездом в Германию, я понял, почему тогдашний питерский мэр проиграл выборы. Возможно, сейчас я применил нечестный приём, использовав столь сильное сравнение: стенам и панелям Санкт – Петербурга (последним – в одном только смысле) по своему состоянию далеко даже до гэдээровских, но надо понять и автора, живущего на другой половине.

Так или иначе, позировать перед зеркалом я пока не мог: лицо, из – за воспоминания о родных дорогах, было менее, чем когда – либо, достойно кисти.

Итак, автобус рванул на Запад (именно так, рванул: эти туши отличаются удивительной резвостью, так что ездить в них стоя непросто – но ведь почти никто и не стоит), и уже через пару минут по левую руку открылся парк; чего – то в этом роде я и ожидал – Берлин очень зелен, в нём не счесть скверов, парков, кладбищ и даже садовых участков с крохотными дачками, и при своих поездках наземным транспортом я только и знал отмечать: вот у этого пруда, вот по этим аллеям я ещё не гулял, да ведь негде было взять на них на

всех время, отчего и пришлось теперь глядеть поверх крон и оград, постигая законы перспективы с империала, откуда можно увидеть удивительные вещи, особенно если сидеть в первом ряду; глядя тогда не вбок, а вперёд, никак не удаётся соотнести расстояния и углы зрения, и всякий раз, когда у красного светофора автобус подкатывается к остановившейся там легковой машине, мне, оттого что я довольно скоро перестаю видеть её впереди и внизу, кажется, что водитель не рассчитал или забылся и сию секунду произойдёт авария, да и произошла уже, и наша громада либо заглотала несчастную машинку почти до передних фонарей, либо расплющила в тонкий лист жести. Однако обычно обходится без происшествий, что выясняется тотчас, едва зажигают зелёный свет.

Моей соседкой на переднем диванчике оказалась молодая блондинка. Она подняла ноги на поручень, ограждающий стекло, но не прямо перед собою – так ей тесно было бы, – а захватив и мою сторону, и мне прежде пейзажа приходилось различать её розовые пальчики, довольно подвижные; по мере нашего углубления в город девушка то, казалось, указывала вторым пальцем куда надо смотреть, то – большим – обозначала своё восхищение увиденным: во! Боюсь, что из – за этого я пропустил за окном много примечательного. С другой стороны, будь стекло зеркальным и я наконец принялся бы за автопортрет, мне бы очень мешало отражение её тупоносых подмёток (в каталогах выставок так бы потом и

значилось: «Автопортрет с подмётками неизвестной дамы», тушь, помада, лак, настоящая кожа»).

На третьей или четвёртой остановке некстати появился фотограф. Чтобы причалить, автобус тупо наезжал на него, обеспокоенного лишь наведением в мою переносицу своего дальнобойного ствола и препятствием тому в виде всё тех же нелепых подмёток с приставшей жвачкой на одной; сначала я, видя не то и не с той стороны и считая помеху прелестным украшением, не понимал его промедления. Понемногу наша машина подмяла под себя этого смельчака, которого я уподоблял партизану со связкой гранат, однако взрыва не последовало, а минуту спустя на нашем этаже появился сам народный герой, живой и невредимый.

– А я вас узнал, – заявил он по – русски, усаживаясь через проход от меня.

Видимо, я переборщил с рассылкой автопортретов по телевидению.

– Фотооператоры вам не требуются? – не теряя времени, на всякий случай поинтересовался он.

– Думаю, что они не требуются в фотоателье, что через дорогу от студии. А нам не требуются ни телеоператоры, ни ведущие программ. С работой нынче туго.

– Чем чёрт не шутит. Всегда лучше спросить, чем промолчать – чтобы потом не думалось. А классный здесь получится кадр: вы и эта девица вверх ногами.

– Получился бы, когда бы вы сменили объектив: в такой

тесноте с телевиком делать нечего.

Сменной оптики у него не нашлось, и снимок пропал. Один Бог знает, какие приключения ожидали бы меня, не забудь он дома свои принадлежности. Потом мне всё мерещился этот не снятый кадр, вовсе не предосудительный, попади он в добрые руки, – единственный след, который остался бы от моего путешествия на империале; без него же – блондинка, выйдя где – то на полпути, пропала навсегда. Немного спустя сгинул и фотограф. Мне не было и нет до них дела, но, быть может, нам неспроста приходится ежедневно расставаться навеки с десятками, а когда и с сотнями людей: этим поддерживается постоянное ощущение потери.

Между тем, кое – кого из них следовало бы забывать ещё до встречи. Теперь со мной не было ни отражения, ни соседей; оставалось смотреть в окно – запоминая либо вспоминая. Слава Богу, за разговорами я не заметил, как мы миновали Александер – пляц, и теперь катили по улице, с которой когда – то началось моё знакомство с Берлином. Будучи тогда здесь проездом и имея в распоряжении всего два или три часа, куда ещё мог я пойти? Берлин – не Париж, и мне по книгам была знакома одна Унтер – ден – Линден (что на русский переводится примерно как Подлипки – москвичи меня поймут); на неё мы с женой и направились. Дело было зимой и вечером, то есть давно стемнело, но голые липы не мешали смотреть на противоположную сторону – только смотреть оказалось не на что, не находилось чудес зодчества, а

лишь – очередные коробки. Разочарованные, мы всё же дошли до Бранденбургских ворот, возле которых вовсю шла стройка и за которыми было черно (ещё и мороз трещал не по – немецки) и пусто – правда, я знал из карты, что там начинается Тиргартен, парк. Повернув восвояси, мы были вознаграждены, найдя в другом конце улицы прекрасные старинные здания – последние, быть может, приметы бывшей империи. Позже я проходил здесь не раз, но и по сей день не привык и всё радуюсь им. В сегодняшней же поездке подобные здания были не последними – впереди ждал дворец Бельвю; прекрасный дворец – но вот тут – то Санкт – Петербург и Петергоф вспоминаются уже с другим чувством.

Лицо, как знают живописцы, у каждого своё, и (об этом они не догадываются) почти всякому оно впору и кстати; душе одного зрителя любезны фонтаны и статуи, а другого – старинные, фигурного литья, водоразборные колонки. Тиргартену пришлось впору просвечивающие сквозь листву сквозные современные звонницы; мы привыкли видеть их хотя и особенными, но зданиями, здесь же это были всего лишь многоэтажные рамы для подвески колоколов; подумав, так и в самом деле нелепо требовать от них чего – либо, кроме удобства: главное, чтобы возможно было звонить (по ком? – увы, есть, по ком) – особенно, если колокольня построена как памятник.

Автопортрет в маске

Посадив к себе на колени женщину, художник её – то обессмертил, но сам не выиграл нисколько; ремесленникам, чей век короток, не стоит повторять сюжет. Вдобавок, даже и нечаянное упоминание этой особенной позы звучит здесь двусмысленно; здесь – это вблизи немецкого телевизора, где многое происходит, конечно, и на коленях, и ещё Бог знает в каких положениях, – и пусть бы так оставалось и дальше, только в меру, – но беда в том, что насмотревшись хроники и многочисленных специальных программ, приходишь к выводу, будто старые добрые способы любви изжиты напрочь, вытесненные скучными фокусами.

В этой части наблюдаемой картины краскам не хватает сочности, и примерно того же недостаёт и слуху: решительному противнику так называемой ненормативной лексики в литературе, мне в иностранной толпе бывает тоскливо без умеренно её увлажняющего родного матерка. С этим, увы, ничего не поделаешь, оттого что каждый из нас в отдельности, а затем и каждый народ лелеет свои представления о свободе. Для меня свобода (в том числе) – выступая по телевидению, не выходить за рамки живого языка, издавна установленные в приличном обществе (что как раз на телевидении и не принято), чтобы жители потом узнавали манеру речи, но не позу и не лицо – мне вовсе не нужно, чтобы посто-

ронные оглядывались на улице; они и не оглядываются, потому что передача – русская, а город – немецкий, и из – за этого неузнавания меня не покидает ощущение присутствия на весёлом карнавале: то ли я и на съёмках сижу в маске, то ли надеваю её, выходя наружу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.